

Святочные истории

Русская классика



Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
С25

Художественное оформление *Натальи Портяной*

С25 **Святочные истории** : русская классика. — Москва : Эксмо, 2026. — 432 с.

ISBN 978-5-04-242756-5

У вас в руках воплощение теплоты и света рождественских праздников в словах великих русских авторов. В книге собраны истории, которые согревают душу и наполняют сердце верой, надеждой и добротой.

Каждый рассказ — это уголок святочного времени, когда дома полны зимнего уюта, а вокруг звучат тихие молитвы и добрые чудеса. Здесь собраны произведения Константина Победоносцева, Ивана Шмелёва, Василия Никифорова-Волгина, Саши Чёрного, Валерия Брюсова, Николая Лескова, Александра Куприна, Фёдора Достоевского и многих других, чьи слова несут в себе светлый дух Рождества.

Это истории о простых и необыкновенных судьбах, о встречах с чудом, о любви и вере, которые оживают именно в святочные дни. Они учат видеть доброту в людях и ценить каждое мгновение тепла и радости.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-242756-5

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово и святая Пасха — праздники по преимуществу детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых: *«Аще не будете яко дети, не имате внити в царствие Божие»*. Прочие праздники не столь доступны детскому разумению, и любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению...

Однако же и из двух названных больших праздников — дитя скорее поймет и примет простым чувством Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестинскими — уединенный вертеп — ясли, обставленные теми домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, — в яслях повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с ясною улыбкой материнского счастья — три великолепных царя, идущих за звездой к убогому вертепу с дарами — и вдали на поле пастухи посреди своего стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследу-

ющий невинного Младенца; избиеание младенцев в Вифлееме — потом путешествие святого семейства в Египет — сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для детского слуха и как скоро сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми радостями его, возвращается в душу то же таинственное ожидание чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут детского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, — стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у которого сживала старуха няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение — ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не было ожидание подарков — нет, — чуялось душе точно, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный и что-то великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь... Как все во мне тихо, как все во мне торжественно! Как все во мне дышит чувством прежних лет, — и с какою духовною алчностью ожидаю я торжественного утра. Это чувство — драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к Богу и непосредственнее чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь — и все, чем красен для человека мир Божий.

Но это ожидание — радости великой и великого торжества — у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутой наслаждения и удовлетворения, что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром — и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские сны: сущность для ребенка — не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что сущность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каждый день, — только, освещенные праздничным светом, лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее, игры одушевленное. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером: как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно...

О великая таинственная ночь! О светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе верующей, — стало быть я забуду свое детство, свою жизнь и самую вечность... ибо что иное вечность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом Божиим!



ИВАН ШМЕЛЁВ



РОЖДЕСТВО

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего — подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у нас повалит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах — сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях — вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит — и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай — увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса... — вот радость!..

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженных свиной подвоят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалют, словно бревна, — мороженные свиньи. Окороча обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком запорошило.

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, индюшек, — «пылкого морозу».

Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой... ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелькой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу — и домой, чугушкой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там лошадьми торговали, — стон стоит. А площадь эта... — как бы тебе сказать?... — да попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает... — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свиной — поросятчий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины... Богато жили.

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аukaются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горя-чи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. стакан — копейка. Кала-

чик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцыжжет. Наснежку, влесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчает. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..

В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то! Морозный, гулкий, — прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... — гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... — синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный

звон, певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, — Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... — и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия миру Свет Разума...

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жметя. За мерзлым стеклышком — знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая, Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездой путеше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, — думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься... Видишь — кормушка, с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит? Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы,

голуби взлетают по стропилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот, подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты спрашиваешь — впускают? Ну конечно, впускают. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полизет руку, будто скажет: да. Рождество. И — на душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедem... Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет: «Выкормочек мой... растешь»... Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас

втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле — оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто... А завтра!..

А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклахросло буграми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мороз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.

— «Волхи же со Звездой питушествуют!» — весело говорит Зола.

Волхов приючайте,
Святое встречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет...

Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же наш...

Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое представление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!

Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.

— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:

Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари.
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!

Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладывают — не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крикают.

Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

— Береги шубы! — кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье... — должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.



СВЯТКИ

Птицы божьи

Рождество...

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —

Христос рождается — славите!

Христос с небес — срящите! —

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розовой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.

В детстве таким явилось — и осталось.

Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы... а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не

могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.

— А где они живут? — спрашиваю я няню.

— За окнами.

За окнами... За окнами — чернота и снег.

— А почему у кормилицы сын мошенник?

— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

— А завтра они придут?

— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрип-скрип-скрип. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей... — после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая борода торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

— Пискун ты, Пискун... пропащая твоя головуш-ка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.